



Максим Анатольевич Шахов

Концентрация смерти

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4989319
Концентрация смерти: Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-62609-0

Аннотация

Капитан Николай Зубков попал в плен к фашистам и угодил в концлагерь у польского города Ченстохов. Спустя некоторое время капитан разработал план побега и, набрав надежных помощников, начал рыть подкоп. Когда оставалось совсем немного, комендант лагеря почуял неладное и приговорил капитана к расстрелу. Перед казнью Зубков успел нарисовать план подкопа на обороте подкладки своей жилетки, которую через лагерного парикмахера чеха Водичку передали другу Зубкова – летчику Михаилу Прохорову. Михаил решает довести дерзкий план побега до конца...

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	14
Глава 3	22
Глава 4	29
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Шахов Максим Анатольевич

Концентрация смерти

Глава 1

Они справедливо считали себя везунчиками. А разве это не счастье, если тебя завтра должны прилюдно казнить? Казнили бы еще и сегодня, но комендант лагеря решил сделать это показательно на Первомай. Их ожидало немного боли, немного унижения и страданий. Зато все мучения останутся позади, навсегда... Это не короткий сон, когда к спящему приходят обманчивые фантазии, когда сбываются самые сокровенные желания. Ты вволю пьешь чистую родниковую воду, вволю ешь, можешь идти, куда хочется. Но наестся во сне невозможно, нельзя утолить жажду, куришь папироску за папироской, не чувствуя запаха дыма, а движения становятся замедленными, и ты не можешь сойти с места. И тем страшнее пробуждение – это ужасная расплата за призрачные видения сна. Ты понимаешь, что кошмарный лагерь для военнопленных никуда не подевался, а ты вновь его пленник. Дорога же на волю отсюда только одна – труба крематория. Она дымит и днем и ночью. С тяжелым черным дымом уплывают в небеса тела и души твоих товарищей. Они были не хуже и не лучше тебя, просто им повезло отправиться в небытие, окончить свои земные страдания.

Согласитесь, это же счастье – знать, что тебя наверняка убьют завтра, а умереть придется не в газовой камере, не за сортиром от пули в затылок, а торжественно, на глазах товарищей. Может, даже удастся крикнуть им что-нибудь на прощание. Вот только что? Все слова перед смертью кажутся незначительными...

Примерно так думал немолодой капитан Красной армии Николай Зубков, полгода назад попавший в немецкий плен. Самого момента пленения он не помнил, да и не мог помнить. В тот день ему пришлось со своими красноармейцами без всякой подготовки пойти в наступление, был приказ взять высоту. Идиотский приказ, как понимал тогда капитан, кому она нужна была, та проклятая высота, ничего не решавшая на этом участке фронта, но против приказа на войне не поспоришь. Так захотелось заезжому генералу...

Атака роты, в которой бойцов осталась треть, быстро захлебнулась. Пришлось залечь почти в чистом поле. Людей от роты Зубкова еще поубавилось, но отбивали контрнаступление немцев. Гитлеровцы шли цепочкой, как казалось капитану, нагло, с высоко закатанными рукавами. И только пулемет сдерживал их движение. И тут пулемет замолчал. Когда Зубков, сделав три перебежки по простреливаемой местности, скатился в воронку, то тут же вымастерился. Он оттащил от «дегтяря» убитого пулеметчика, и пулемет вновь заговорил.

Немцы залегли. Однако радоваться было рано. За пригорком ожил миномет. Бухал, взывал противным надсадным гулом, и вновь бухал. Наверняка его умело корректировали по рации, каждый взрыв ложился все ближе и ближе к огневой позиции Зубкова. В голове крутилась предательская успокоительная мысль: мол, снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает – значит, уцелею...

Взорвалось совсем рядом, и капитан провалился в темноту. Когда он вновь открыл глаза, то увидел над собой покачивающееся небо, по которому плыли белые облака. Зубкову удалось приподнять голову. Капитан лежал в крестьянской телеге вместе с другими ранеными красноармейцами, которая неторопливо двигалась по пыльной дороге в колонне пленных. Что ж, капитан был везунчиком с детства, ему и теперь повезло, выжил, только сильно контузило. Ну а потом сменилось несколько лагерей для военнопленных: под Минском, в Волковыске, теперь здесь – филиал Майданека, лагерь для пленных советских офицеров в польской Ченстохове.

Можно сказать, и тут ему повезло. Мало того, что лагерь, по сути, являлся коммерческим предприятием – здесь изготавливали обувь, ремни, портупей для солдат вермахта, а потому хоть минимально заботились о том, чтобы пленные могли протянуть на таких работах полгода, а то и год, если узник являлся ценным кадром в смысле профессии. Зубкову повезло попасть на производство, где изготавливали и правили скорняцкий инструмент, который должен быть постоянно идеально острым и заточен специальным образом, иначе обувь не выкроишь по лекалам. Свою роль сыграло то, что на гражданке до мобилизации Николай работал мастером на метизном заводе в Харькове. Ушел на фронт добровольцем в первые месяцы войны, хоть и имел бронь. Попади Зубков в число тех, кто шил, сбивал обувь деревянными гвоздями, а еще хуже, стал бы одним из тех несчастных, кто эти сапоги растапывал на плацу с утра до вечера, чтобы немецкий солдат не натер ноги на Восточном фронте, то вряд ли бы дожил и до сегодняшнего дня.

И вот теперь в числе одиннадцати пленных советских офицеров он оказался в бараке для смертников. Или, вернее было бы сказать, это остальные десять оказались там благодаря ему. В лагерных кошмарах все так запутано, поди разберись, кто кому и что должен, где и чья вина. Уже одно то, что ты остался жив, означает, что сотни твоих товарищей погибли, казнены, и ты доживаешь за них. Вот пришел и черед Николая отдать свою жизнь.

Уцелеть в лагере на более-менее продолжительное время можно лишь двумя способами. Или же ты превращаешься в рабочую скотину, которая безропотно сносит все, что выпадает на ее долю, довольствуется тем, что ей дают, и перестает думать о других. Мол, умри ты сегодня, а я завтра. Или же ты должен сопротивляться, а открыто делать это невозможно. Кто-то вел подпольную агитацию и платился за это жизнью. А кто-то, как Зубков, готовил побег. Это самый большой стимул выжить – верить, что окажешься по ту сторону трех рядов колючей проволоки, по которой пропущен электрический ток смертельного напряжения. Правда, не совсем было понятно, что произойдет потом, по ту сторону колючки, ведь беглеца будет три дня искать тысяча эсэсовцев с собаками. Их всегда доставляли назад – живых или мертвых. Но душу грело то, что Польша все же не Германия. Здесь можно было рассчитывать хотя бы на сочувствие...

Сперва их было семеро, тех, кто готовил вместе с Зубковым побег. Дело продвигалось, работали по ночам, благо жилой блок для тех, кто работал на изготовлении и ремонте скорняжного инструмента, располагался в одном бараке с мастерской. Их отделяла лишь дверь, которую замыкала на ночь охрана, но изготовить ключ, когда в твоём распоряжении станки и материалы, для хорошего специалиста не проблема.

Копали под пожарным ящиком с песком, который и десять человек не могли бы сдвинуть с места. Песок выгружали, ящик отодвигали и забирались в лаз. Работали по очереди – парами. Один копал, второй выносил землю. В узком проходе и одному было не повернуться. К утру пожарный ящик возвращали на место, а выбранный из лаза песок выносили из барака в сапогах, старались высыпать в чахлую траву, где он был не так заметен. Иногда относили его к сортиру, за которым высилась земляная куча, образовавшаяся из отходов выгребной ямы, присыпанных землей...

За время работы четверо пленных умерли от болезней, двоих отправили в газовую камеру. Остался лишь Зубков, затеявший подготовку к побегу, он и в одиночестве продолжал копать подземный ход к воле, пока не попался с поличным. Его по дороге утром в сортир задержал один из охранников. Николай нес в сапоге песок. Правда, Зубкову удалось повернуть дело так, будто он, не получив на то разрешения, углублял землю под верстаком. Мол, рост у него немаленький, неудобно стоять. Разбирательство проводил сам комендант лагеря. Пол у верстака и в самом деле был углублен под рост Зубкова. Лаза под пожарным ящиком с песком так и не обнаружили, не догадались опорожнить его. Но господина коменданта трудно было провести, он нюхом чуял, что дело нечисто, стоило ему взглянуть в глаза капи-

тану. Сломавшихся он с первого взгляда отличал от тех, кто душой рвался на волю. А потому и оформил все как попытку побега, за которую полагалось казнить не только Зубкова, но и еще десять пленных в назидание другим, чтобы охотней доносили о готовящихся побегах.

Вот так одиннадцать «везунчиков» и оказались вместе в бараке для смертников. Завтра их ждала казнь. Николай не жалел ни о чем, но было обидно сознавать, что работы оставалось всего на неделю-вторую, а теперь Зубков оставался единственным хранителем тайны про сделанный подкоп, и ему не с кем было этой тайной поделиться.

Зачем коменданту был нужен перенос казни на завтра, стало понятно лишь к вечеру, когда в бараке для смертников появился Франтишек Водичка – словак, то ли сидевший, то ли служивший в офицерском лагере парикмахером, причем он пришел не с пустыми руками, а со своим инструментом.

– Здравствуйтесь, камрады, – вполне весело обратился он к смертникам. – Мне приказано сделать так, чтобы на тот свет вы отправились молодыми и красивыми. Кто первый? – И Водичка принялся раскладывать свой инструмент, совсем не опасаясь того, что кто-нибудь из приговоренных схватит опасную бритву и полоснет его по горлу.

Какие могли быть счеты к человеку, который и сам являлся рабом этого лагеря? Не повезло Франтишеку, хоть Словакия в то время вроде бы и являлась союзницей Германии. Призванный в армию, попал Водичка в тыловые части, служил в Беларуси, один оболтус в его отделении элементарно пропил свой карабин, обменяв его у хуторян на самогон. Пьяницу показательно расстреляли перед строем, а все подразделение отправили в концлагерь, откуда Франтишек, благодаря его гражданской профессии парикмахера, попал на хлебную должность в лагерь для военнопленных красноармейских офицеров. Боялись немцы подставлять для бритья свои шеи советским рукам. И надо сказать, боялись справедливо.

– С чего бы такая честь? – поинтересовался Зубков.

– Не знаю. Мне немцы не докладывают. Но, кажется, комендант решил устроить вам показательную казнь. На плацу виселицу с высоким помостом сбивают. А лагерный духовой оркестр с самого утра Вагнера репетирует. Если повезет, то и фотокорреспондент приедет, как в прошлом году, – рассуждал Водичка, взбивая в чашке густую мыльную пену. – Снимок в газете напечатает. Хоть какая-то память останется. Потом кто-нибудь из родственников на фото узнает.

– У меня на Родине немецких газет не выписывают, – неохотно пробурчал Зубков.

– Случиться может всякое. Ну, кто первый? Мыло, кстати, французское.

– Неужели комендант такой щедрый? – удивился один из узников.

– Нет, это презент уже лично от меня. Сэкономил.

Один смертник уже сидел на нарах, его шею и щеки густо укрывала мыльная пена. Пахло удивительно вкусно, словно в бараке расцвела сирень. Острая бритва скребла давно не бритую щетину. Франтишек работал искусно, даже несмотря на отсутствие горячей воды ни разу не порезал. И тут до Зубкова дошло, что появление Водички – это его шанс. Нет, не на личное спасение, а лишь на то, чтобы его труд и труд его погибших, умерших товарищей не пропал зря. Парикмахер оказался единственной случайной ниточкой, временно связавшей его с лагерем. Пусть не он сам воспользуется лазом, а другой пленный офицер, и это станет его вкладом в будущую победу. Так всегда бывает на войне, одни погибают для того, чтобы жили другие.

Капитан не спешил занять место возле парикмахера. Он забился в дальний угол нар, стащил с себя теплую стеганую жилетку, в которой давно уже хотел зашить порвавшуюся подкладку, но, слава богу, не успел, вывернул ее наизнанку через дырку и, вытащив из тайника под стелькой ботинка коротенький, на пару сантиметров, огрызок химического карандаша, стал торопливо слюннить его и писать, рисовать на материи. Даже кусочек карандаша, предназначенного для разметки кожи, присвоенный Зубковым по случаю, оказался кстати.

Лагерь такое место, где никакие вещи лишними не бывают. Пленный всегда найдет им применение.

Зубков брился последним. Он сидел голым до пояса, под кожей четко проступали ребра. Белая пена хлопьями падала ему на грудь, и Водичка тут же подхватывал ее влажной тряпкой так, словно клиент мог предъявить ему претензии. Наверняка он и до войны именно так, аккуратно и старательно работал в собственной парикмахерской на окраине Братиславы.

Наконец, Франтишек вскинул небольшое вогнутое зеркальце, в котором Николай увидел свое, хоть и слегка помолодевшее, но все же осунувшееся лицо.

– Благодарить не надо, тем более платить, – предупредил Водичка. – Не вы же меня пригласили. Удачи желать не буду. Не тот случай. – И парикмахер принялся торопливо собирать инструмент; не слишком ему было уютно в компании смертников, никому не захотелось бы здесь задерживаться.

– погоди, Франтишек, – негромко попросил Николай.

Водичка вскинул голову, в глазах мелькнул страх. Вдруг как сейчас осужденный на смерть попросит о чем-то запрещенном. Присоединиться к завтрашнему показательному представлению с одиннадцатью смертельными номерами в качестве полноправного участника ему совсем не хотелось.

– Слушаю, – выдавил он из себя, ведь был обязан Зубкову «по жизни», советский капитан не раз и не два ремонтировал ему инструмент, точил ножницы, при этом не требовал никакой благодарности и платы.

Зубков сделал паузу, он еще до конца не решил, кому доверить тайну. Хотелось сделать это наверняка, чтобы человек ею воспользовался. Во-первых, догадался, во-вторых, не струсил, довел начатое до конца и не сдал, струсив, тайну администрации лагеря.

– Мне все равно на том свете не пригодится, – Зубков старался говорить как можно спокойнее. – Так что прошу, передай это... – Николай вновь задумался, перебирая в памяти тех, кого знал по лагерю. – Старшему лейтенанту Прохорову из пятого барака, – и он положил перед словаком свернутую суконную жилетку. – Хорошая, теплая. Жаль, если пропадет.

– Это который Михаил, летчик? – тут же выказал свою осведомленность Франтишек. – У него еще щека обгоревшая, красная?

– Он самый. Только извинись от меня. Все руки не доходили дырку в подкладке зашить. Пусть уж сам постарается. Теплая жилетка.

Водичка развернул жилет, старательно прощупал швы, даже руку в дырку в подкладке засунул. Проверял, нет ли там чего недозволенного, хотя бы письма или записки.

– Я тебя за собой не потяну, не бойся, – успокоил его Зубков. – Хватит того, что на моей совести десять товарищей, – он кивнул на смертников.

– Сделаю, – пообещал Водичка, снял пиджак, надел под него жилет. – Так легче вынести будет. Охрана и не заметит, – пояснил он.

Отказывать смертнику в просьбе считалось плохой приметой. Теперь Зубков не сомневался, что его подарок попадет по назначению. Вот только поймет ли послание бывший летчик Михаил Прохоров? Сумет ли им воспользоваться?

– Обязательно за подкладку извинись, – бросил Николай вслед парикмахеру. – Не хочу, чтобы Миша подумал, будто я оборванец какой-то.

Дверь в барак смертников тяжело закрылась, лязгнув засов. Зубков стал на нары, выглянул в маленькое зарешеченное окошко под самым потолком. Что происходит с Водичкой, он не мог видеть. Парикмахер не появлялся в поле зрения долго.

– Лишь бы охрана не нашла мое письмо... – твердил Зубков.

Наконец он вздохнул с облегчением, так глубоко, словно для него персонально отворились ворота темницы. Франтишек Водичка, сжимая в руке саквояж с инструментами, спе-

шил к административному корпусу. Николай спрыгнул на земляной пол, потер гладко выбритый подбородок.

– Чего радуешься, словно бога за бороду ухватил? – довольно неприязненно спросил пожилой пленный. – Лучше бы помолился, капитан, в мыслях покаяться бы. Есть нам, в чем каяться. Я после Октября про Бога и думать забыл, в активисты подался, а вот в лагере вспомнил. Есть Он на небесах. Все по Его воле случается. И каждое ниспосланное испытание человек заслужил. Как наш батюшка в приходской церкви говорил: не пошлет Господь такого испытания, какого человек не в силах вынести, только по силам каждому посылает. Вот и нам испытание ниспослано.

– Религия хоть и опиум для народа, но тут твой батюшка верно сказал про то, что по силам каждому испытание дается. Вынесем, куда уж денемся, – криво ухмыльнулся Зубков. – А покаяться в душе я и под виселицей успею. Неправильно это, когда человек день и час своей смерти знает, кается не от чистого сердца, а по необходимости, но с другой стороны, и свое удобство в этом имеется.

Ничего больше не объясняя товарищам по несчастью, Зубков лег на деревянные нары, закинул руки за голову. Сегодняшний день, предпоследний в его жизни, выдался на удивление спокойным. Никто не докучал смертникам, не гнал на работу, не заставлял по несколько часов стоять без движения на плацу. О том, что за тяжелой дверью страшный лагерь, напоминали лишь шаги охранника да его тень, то и дело неторопливо проползавшая в узкой щели между землей и дверным полотном.

Иллюзий насчет своего будущего Николай больше не строил, он просто мечтал о том, чем сможет обернуться его подарок с неоконченным подкопом. О плохом старался не думать: за каждого попытавшегося бежать узникам предстояла расплата – десять случайных пленных шли на казнь. Но все равно...

Зубкову в мыслях виделось, как Михаил Прохоров с теми, кому он доверит тайну, выбежит через подземный ход ночью, как им удастся уйти затемно подальше, а потом отсидеться, переждать погоню с тем, чтобы уйти на восток, добраться до Беларуси, Украины, влиться в один из партизанских отрядов. Видение оканчивалось тем, что Прохоров сидит в лесу возле костра и рассказывает друзьям по оружию, что оказался на свободе благодаря именно ему, Николаю Зубкову.

В темноте барака смертников слышались звуки. Никто не спал. Кто-то тихо молился, с трудом припоминая забытые слова молитвы, кто-то сдерживал плач, кто-то вполголоса вел разговор с близкими так, словно они были рядом. За окошком под самым потолком то и дело проходил луч мощного прожектора, но и он наконец растворился, исчез в лучах утреннего первомайского солнца.

* * *

– С Первомаем, товарищи офицеры, – тихо обратился к другим смертникам Зубков.

– Да уж, неплохой у нас праздничек выдался, – дрожащим голосом, но все же стараясь держаться, произнес еще почти безусый младший лейтенант.

– А праздник – он по-любому праздник, – вставил пожилой старлей.

Сколько сейчас времени, точно не знал никто, но в лагере еще царил тишина, значит, не наступил час подъема.

– Не забудьте как следует оправиться, – абсолютно серьезно напомнил Николай. – Говорят, что у повешенного моча сама собой выливается. Не хотелось бы в мокрых штанах висеть на потеху гитлеровцам.

Это замечание вызвало невеселый смех. Мужчины все еще держали себя в руках, хотя было понятно, что практически все из них находятся на грани нервного срыва. Каждую

секунду могло случиться все, что угодно: и рыдания, и крики, и агрессия, и мольбы оставить в живых. Никто точно не знал, хватит ли сил продержаться достойно до самого конца. Ведь умирать любому человеку приходится всего однажды... Никто не знал, где предел его возможностям.

Громыхнула из радиодинамиков над лагерем музыка, но на этот раз не такая, как всегда, не один из бравурных немецких маршей, а симфонический оркестр. Шмелями завывали скрипки, скрипели контрабасы, рассыпалась стекольным звоном челеста, глухо ухали барабаны с литаврами, разлетался искрами звон тарелок. А затем зазвучал оперный тенор. Несмотря на то, что большинство узников сносно знали немецкий язык – лагерная жизнь научила, понять слова арии было невозможно. Они казались каким-то замогильным средневековым заговором. По крикам охраны и лаю овчарок нетрудно было догадаться, что начинается очередной кошмарный день.

Смертники стали переглядываться, хотя до этого избегали смотреть в глаза друг другу.

– Что такое? – Взгляд юного младшего лейтенанта забегал.

– Хорошая музыка, – пожал плечами Зубков. – В этом нашему коменданту отказать нельзя. Вкус есть, совести нет. А ты держись, классика, она на мозг сильно давит, на то и рассчитано. Смотри, чтобы на слезу не пробило.

– Не дождутся.

Прошло около четверти часа, может, больше или меньше, время для осужденных на смерть шло в двух измерениях. С одной стороны, неудержимо пролетало, с другой – растягивалось до бесконечности. Послышался ляг засова. Зубков поднялся, пригладил дрогнувшими ладонями короткие волосы. Дверь отворилась, в барак потоком хлынул солнечный свет. Его лучи заискрились в пыльном, застоявшемся воздухе. Раскрытая дверь казалась выходом в иной мир. В барак забежали охранники из числа заключенных с тяжелыми дубинками, готовясь выгнать упирающихся смертников на улицу.

– Мы сами, – поспешил крикнуть Зубков, вскинул руку и шагнул навстречу солнцу.

На удивление, этот крик возымел действие. Никто из осужденных на смерть не стал упираться, все двинулись за Николаем. Он шел, вскинув голову, поскольку знал: товарищи смотрят на него. Яркий свет слепил после полумрака барака. Капитан почти ничего не видел. Он слышал отрывистые крики команд. Музыка из динамиков на какое-то время смолкла. Раздалась частая барабанная дробь. Глаза наконец привыкли к яркому свету.

Дорогу к эшафоту с двух сторон обрамляли плотные шеренги из солдат вооруженной немецкой охраны лагеря и охранников из заключенных. За ними стояли пленные, выстроенные в две шеренги. Среди них бегали с перекошенными от злости мордами немецкие прихвостни с дубинками и следили за тем, чтобы никто не отводил от смертников взгляда.

– Не закрывать глаза!

– Смотреть!

Странно, но эти русские слова на слух воспринимались Зубковым отрывистой, похожей на лай лагерных овчарок, немецкой речью. Он поискал глазами. Тот, кому он решил доверить свою последнюю тайну, неоконченный подземный ход – Михаил Прохоров, стоял в третьем ряду. Он еще наверняка не получил жилетки, не стал бы словак Водичка так рисковать в день казни, но Николай хотел взглядом подсказать, что подарок не простой, с двойным дном. Благо руки не были связаны. Зубков расстегнул френч и сделал вид, что закладывает пальцы под воображаемую жилетку.

Михаил Прохоров увидел этот жест и даже ободряюще кивнул, но явно ничего не понял. Как хотелось Николаю Зубкову броситься через оцепление, через шеренги построенных на плацу пленных к нему. Всего-то пары слов хватило бы, чтобы все объяснить... А потом пусть будет все, что угодно. Его повалят на землю и забьют, затравят овчарками. Какое это имеет значение перед обличьем близкой смерти? Но он понимал, что не пробежит

и двух шагов, не успеет сказать заветных слов, которые вывел на подкладке огрызком химического карандаша.

Дубинка обрушилась на спину Зубкову. Это постарался один из своих же пленных, служащий в охране.

– Пошел, пошел.

Одиннадцать смертников преодолевали свой последний путь. Под ногами пылил вытоптаный до голой земли плац. Барабанная дробь вновь сменилась музыкой. Над головами надрывались громкоговорители. Где-то в душе Николай даже был благодарен коменданту лагеря за включенную классическую музыку. Смерть всегда безобразна. А звуки симфонического оркестра и голоса оперных певцов придавали ей хоть какое-то подобие благородства и высшего смысла.

Николай смотрел на своих товарищей по несчастью – выдержат ли до конца, поведут ли себя достойно или у кого-то сдадут нервы? Не бросится ли кто в ноги палачам, не примется ли молить их о пощаде. Сосредоточенные лица, взгляды словно обращены внутрь. Будто никто из смертников не видел того, что творится вокруг, а созерцал свою прошлую, близкую к завершению жизнь.

Впереди возвышался помост с длинной перекладиной виселицы. Она держалась на четырех массивных столбах. Одиннадцать толстых шершавых веревок с аккуратно сделанными петлями слегка раскачивались на весеннем ветру. Помост, возвышавшийся над плацем, казался кораблем, готовым отправиться в плавание.

Нацисты тоже уважали праздник Первомая. Но только называли его не Днем солидарности всех трудящихся, а Праздником труда. В его честь по всему лагерю были вывешены флаги – огромные красные полотнища с белыми кругами по центру и свастиками.

Черные свастики напоминали пауков, лениво шевеливших своими лапами. Герр комендант любил внешние эффекты. Даже виселицу в честь праздника украсили гирляндами из живой зелени. Словно готовили не к казни, а к свадьбе.

Смертников подвели к эшафоту, и музыка из динамиков смолкла. В руках музыкантов из пленных ослепительно блестели на утреннем солнце начищенные инструменты духового оркестра...

Дирижер, ловивший взглядом малейший жест коменданта – штурмбаннфюрера СС Вильгельма Гросса, дождался кивка и взмахнул палочкой. Из сверкающих труб внезапно полилась до душевной боли знакомая мелодия «Прощание славянки».

Зубков до этого был уверен, что взойдет на эшафот и примет смерть от рук палачей без единой слезинки. А тут почувствовал, как глаза его предательски влажнеют. Как из уголка глаза срывается и катится по щеке капля. Блеснули слезы и в глазах других смертников. У каждого с этой мелодией были свои воспоминания. Именно под нее большинство сегодняшних пленных уходило на фронт.

Вильгельм Гросс самодовольно улыбался. Он считал себя неплохим психологом и четко просчитал, чем сможет вызвать слезы у суровых мужчин, с которыми в этой жизни случилось все, что только могло случиться. Кроме смерти, конечно. Но и та находилась от них уже в паре шагов.

Полыхнула вспышка. Только сейчас сквозь слезную пелену Зубков заметил стоявшего рядом с оркестром военного фотокорреспондента – пожилого лысеющего мужчину в форме вермахта. Над вогнутой зеркальной тарелочкой блица струился дым магниевой вспышки. Стало мучительно стыдно за проявленную слабость. Мгновенно вспомнились строчки Владимира Маяковского о плачущем большевике, выставленном в витрине, возле которой толпятся ротозеи.

Штурмбаннфюрер приподнял руку. Оркестр мгновенно смолк. Над плацем воцарилась тишина, и стало слышно, как посвистывает ветер в трехрядном ограждении из колючей про-

волоки. Одетый в черную, идеально выглаженную эсэсовскую форму, поджарый Вильгельм Гросс легко взбежал по лесенке на трибуну. Замер у микрофона, подвешенного на растяжках в середине проволочного кольца. Зазвучал его отрывистый голос. Он говорил о Празднике труда, о великой Германии, о близкой победе германского оружия и о неблагодарных пленных красноармейцах, которым Третий рейх милостиво сохранил жизнь с тем, чтобы после победы они могли вернуться на Родину к своим семьям. Но вместо того, чтобы приближать победу самоотверженным трудом, они занимаются вредительством, ленятся работать. Зря едят немецкий хлеб. Это из-за них немцы вынуждены снимать солдат с фронта и направлять их на охрану лагерей.

Гросс говорил без переводчика, простыми доходчивыми фразами, смысл которых большинству пленных был понятен...

– ...Германия не жаждет крови. Мы пришли освободить ваши народы от ига евреев и коммунистов. Мы несем вам европейскую цивилизацию и железный немецкий порядок, без которого нет будущего. Каждый, кто становится у нас на пути, будет сокрушен. Сегодняшняя казнь – предупреждение тем, кто пытается помешать установлению этого порядка...

Зубков старался не слушать то, что говорит комендант. В последние минуты земной жизни он беззвучно обращался к своим родным, которых уже давно не видел, даже не знал – живы ли они, прощался с ними в мыслях.

Окончив речь, Вильгельм Гросс спустился с трибуны. Из казни комендант решил сделать грандиозный спектакль. Внизу, под эшафотом, стоял стол, за которым восседал племянник коменданта – Фридрих Калау, занимавший должность лагерного медика. Он, использовав свои связи, вытащил его с Восточного фронта и устроил служить под свое начало. Фридрих среди пленных пользовался относительным уважением. Слыл гуманистом. Однажды он даже вырезал пленному воспалившийся аппендикс, хоть и не был хирургом, просто решил попрактиковаться. Калау не шел ни в какое сравнение со своим предшественником – медиком-«мясником», знаменитым тем, что, когда один из пленных обратился к нему с сильно загноившимся пальцем, тот, недолго думая, ампутировал ему по локоть руку. После чего никто к нему ни с какими недомоганиями не обращался. Правда, предшественник Фридриха кончил плохо. Его нашли утонувшим в выгребной яме. Кто именно расправился с медиком, так и не нашли. Хотя и казнили за его убийство каждого седьмого пленного.

Охрана подводила смертников к столу. Доктор Калау учтиво предлагал присесть, мерил давление, заглядывал через зеркальце в зрачки и спрашивал о самочувствии. Затем во всеуслышание сообщал, что приговоренный к казни абсолютно здоров и адекватен. Военный фотокорреспондент старательно запечатлевал эти моменты «гуманного» отношения для читателей газеты и для будущих поколений.

Одиннадцать смертников поднялись на эшафот. С ними же взошел и Фридрих Калау. Он держал в руках кожаный саквояж с инструментами. Приговоренные к смерти стояли возле высоких табуретов, над которыми покачивались петли. Даже в очередности приведения приговора в исполнение комендант лагеря проявил изобретательность. Николая Зубкова должны были повесить последним. Ведь это из-за него остальные десять пленных оказались на эшафоте. И он обязан был видеть смерть каждого из них собственными глазами.

Зазвучала барабанная дробь. Четверо охранников из пленных схватили первого приговоренного. Тот попытался сопротивляться, но ему тут же заломили руки, связали их за спиной, поставили на табурет, набросили на голову петлю и ударом ноги тут же вышибли подставку. Несчастный повис, задергался, а затем затих. Доктор Калау подошел к нему, оставил раскачивающееся тело, деловито вставил в уши трубочки стетоскопа и приложил рас-труб к шее – рядом с глубоко врезавшейся в плоть шершавой веревкой. Через две минуты он сообщил, что смерть констатирована.

Конечно же, смерть он констатировал куда раньше. Но эта двухминутная задержка, во время которой каждый пленный с содроганием думал о том, что повешенный все еще жив, слышит, а возможно, и видит происходящее, была придумана комендантом лагеря. Он хотел выжать из казни в психологическом плане все, что возможно, максимально запугать пленных, лишить их воли к сопротивлению.

Палачи взялись за второго смертника. Во время казни лагерные «шестерки» с дубинами бегали перед строем пленных, заставляли смотреть на эшафот, следили, чтобы никто не отводил взгляд, не закрывал глаза. Единственные, от кого этого не требовали, были сами смертники. Николай Зубков смотрел на покачивающуюся над ним петлю, в которой ему совсем скоро предстояло расстаться с жизнью...

В серую шершавую веревку была вплетена яркая красная нить. Еще одно чисто немецкое изобретение – элемент того самого железного орднунга. Только в веревках и канатах, предназначенных для нужд вермахта, имелась такая красная нить. И если у кого-то из штатских на оккупированной территории в хозяйстве находили такую веревку с красной нитью, то его ждала показательная казнь, как вора, посягнувшего на немецкое военное имущество.

Трещал барабан. Очередной смертник дергался в петле. Фридрих Калау, поглядывая на секундомер, методично констатировал смерть. Николай Зубков глянул на стоявшего рядом с ним под раскачивающейся петлей молоденького лейтенанта. Их взгляды встретились. И по глазам молодого человека капитан понял – еще немного, и тот не выдержит, станет молить палачей о пощаде, кричать, что ни в чем не виноват. Но как приободрить человека, идущего на смерть? Как убедить его в том, что мольбы бессмысленны и единственное, что осталось в жизни, это постараться с достоинством прожить последние минуты? Только своим примером!

И тут Зубков улыбнулся, он наконец понял, что должен сделать. Даже сейчас, оказавшись в абсолютно безвыходном положении, он способен совершить побег. Пусть и не через почти оконченный подземный ход, но это будет именно побег, причем совершит он его на глазах у всех: администрации лагеря, охраны, пленных товарищей.

Доктор Калау в очередной раз констатировал смерть. Еще пятеро осужденных оставались живы. И тут Зубков сам вскочил на табурет, накинул себе петлю на шею.

– Да здравствует великий Сталин! – крикнул он. – Враг будет разбит, победа будет за нами!

К нему бросились охранники, но капитан опередил их. Сам оттолкнул табурет ногой и повис в петле. Он сумел совершить свой побег на глазах у всех.

Ровные шеренги пленных качнулись. Раздались крики:

– Да здравствует!

– Победа за нами!

Молоденький лейтенант отчаянно крикнул:

– Прощайте, товарищи! – И, вскочив на табурет, всунул голову в петлю.

Примеру Зубкова последовали и остальные оставшиеся в живых осужденные.

Немецкий орднунг из выстроенных по натянутой ниточке шеренг сломался... Слышались крики, ругательства. На пленных опускались дубинки. Охрана принялась стрелять. Спектакль, мастерски задуманный комендантом, получил совсем иной финал – не тот, на который рассчитывал штурмбаннфюрер Гросс.

Пленных удалось разогнать лишь через четверть часа. С десятков мертвых тел остались лежать на плацу. Узников загнали в отсеки, огороженные колючей проволокой. А одиннадцать смертников по приказу коменданта для устрашения оставили висеть на украшенных гирляндами из живой зелени виселицах.

Михаил Прохоров сидел на земле. По случаю праздника в лагере был выходной. Бывший военный летчик смотрел в небо и думал о том, что оно одно на всех. То же самое небо и над Германией, и над Польшей, и над его Родиной.

– А ведь теперь в мастерской по изготовлению заточки скорняжного инструмента никого и не осталось. Место хлебное, работая там, выжить можно.

– Эх, туда бы попасть.

Донеслись до слуха Прохорова фразы из разговора двух пленных.

– И не мечтайте, – сказал летчик. – Просто так туда никого не возьмут. Не с нашим счастьем.

Глава 2

Смычок неторопливо скользил по струнам скрипки. Тонкие пальцы коменданта двигались по грифу инструмента. Тускло поблескивал кабинетный рояль. Крышка инструмента была открыта, и белые клавиши, обклеенные пластинками из слоновой кости, казались оскаленной пастью диковинного монстра. Вильгельм Гросс, стоя у окна, музицировал. Исполнял свое любимое произведение – «Зимнюю сказку» Шуберта. Он самозабвенно запрокидывал голову и извлекал из старого инструмента нежную мелодию. Окончив игру, резко опустил смычок, положил скрипку в футляр и, опершись о подоконник, посмотрел с высоты мезонина на плац, посередине которого высился эшафот с одиннадцатью повешенными.

Племянник коменданта – Фридрих Калау, утонул в черном кожаном кресле рядом с сервированным журнальным столиком.

– Шуман, конечно, тоже великий композитор, – задумчиво произнес комендант, – но слабее Шуберта.

– Я люблю музыку, дядя, но плохо в ней разбираюсь, – признался Фридрих, рассматривая свой начищенный до зеркального блеска сапог.

– Музыку нужно чувствовать, а не разбираться в ней. – Он тронул пальцем струны скрипки. – Мы, немцы, очень музыкальный народ. Именно Шуберт воплотил в звуках немецкую душу. Неужели ты не услышал этого?

– Конечно, воплотил, – не слишком уверенно отозвался медик.

Комендант еще немного полюбовался виселицей, а затем вернулся к столу. Мягкое кожаное кресло с высокими подлокотниками приняло его в свои объятия, чуть слышно скрипнув. Штурмбаннфюрер сжал тонкие пальцы на горлышке бутылки. Разлил коньяк в низкие широкие бокалы.

– Выпьем за праздник, – предложил он племяннику.

Тот поднял бокал и хотел уже отпить, как дядя укоризненно покачал головой.

– Фридрих, плохие манеры непростительны для арийца. Коньяк должен согреться теплом твоей ладони, – и он показал, как следует держать бокал, вставив тонкую ножку между средним и безымянным пальцами, согреть его ладонью. – И вот, когда ты ощутишь аромат, тогда можно пригубить. Коньяк не следует глотать даже самыми маленькими глотками. Он должен растекаться, впитываться небом, языком.

– Хороший коньяк, – похвалил напиток Фридрих, когда попробовал его.

– Французский, – кивнул Вильгельм. – Коньяк – это то немногое, что умеют хорошо делать французы. А вот их искусство – это полная деградация. Не живопись, а мазня. Не литература, а бред сумасшедшего. Я уже не говорю о французской кухне. – Штурмбаннфюрер взял из вазочки кусочек вяленой дыни и принялся неторопливо жевать. – Коньяк нужно закусывать именно дыней. Никогда не закусывай его лимоном. Это тоже дурной тон. Лимон хорош, чтобы перебить вкус рыбы. Цитрусовые и коньяк несовместимы.

Фридрих неторопливо прикладывался к коньячному бокалу. Ему, конечно, хотелось сегодня быть не на территории лагеря, а пойти домой, в поселок для администрации, зайти в гости к соседям, поболтать с их молодой дочерью. Но он считал неправильным оставить дядю одного, ведь тот так много для него сделал. В свое время вытащил его с Восточного фронта, можно сказать, жизнь спас.

– Все, что есть ценного в европейском искусстве, науке... да и вообще во всей европейской цивилизации, создано золотыми немецкими руками, золотым немецким умом. Возьмем, к примеру, классическую философию – это же чисто немецкое явление...

Фридрих слушал рассеянно. Штурмбаннфюрер вновь подсел на своего любимого конька – немецкую культурную исключительность.